Коренные, коренастые, коронные.

Наталия Андреева (Вита Градская).

Тот день я помню отчетливо: полусонное февральское утро, солнечная дымка над Охотским морем, хрупанье ядреного снега под торбасами, рыболовный, неудобный для переноски ящик в руках, тяжеленный рюкзак за плечами и непроходимая, безграничная досада на собственные дурь и упрямство.

Я иду на рыбалку. На навагу. На абордаж. Краем глаза наблюдаю за вполне довольным, шагающим на три шага в сторону, дядей Юрой, мурлыкающим песенку про мороз и Колыму. Досада разгорается еще пуще, но едва проснувшийся разум пытается доказать, что, кроме как я сама, никто в этой рыбалке не виноват. «Ах, какая рыбка, ах какая рыбка! ― передразниваю я сама себя, ― ой дядя Юра, какой вы счастливчик. Всю жизнь завидовала рыбакам, их азарту и увлечению». Тьфу.

Еще неделю назад я уминала жареную навагу в теплой уютной кухоньке своей подруги Танюшки и льстиво пела серенады ее папе-рыбаку. Толь дядя Юра поверил моему искреннему желанию попробовать себя в роли рыбачки, толь решил наказать за подхалимаж, но он добродушно хлопнул меня по спине своей медвежьей лапой и обронил:

― В следующее воскресение готовься ― вместе на рыбалку пойдем. Из дочки рыбака не получилось сделать, так хоть из тебя сделаю.

Рыбный кусок застрял в глотке, а лапища дяди Юры снова опустилась на мою спину:

― Не жадничай! Скоро сама наловишь. Снасти дам свои, торбаса у тебя есть, полушубок оденешь батькин. Жив еще чай?

Про жив — это про полушубок. Батька тоже, по всей вероятности, был жив, но как полярный мишка «ушел на дрейфующей льдине» и только его и видели. Точнее не видели. Я точно не видела. А вот батькин полушубок дядя Юра помнит хорошо, потому что еще в их глубокой юности они вместе устраивались на работу прииск «Наталка», где и приобрели по новенькому, овчинному полушубку. Дядя Юра давно подкатывал к моей маме, точнее не к ней, а к полушубку, а еще точнее ― с вопросом о полушубке:

― Надь, чего там тулуп-то? Моль еще не почикала?

Мама делала вид, что не понимает намека, а дядя Юра прикидывался, что и не намекает. Так полушубок, уже много лет висевший в нашей кладовой, состарился вовсе не от носки, а от времени и одиночества.

И вот теперь иду я обреченная на эту чертову рыбалку.

 Но все-таки дядя Юра меня, как новобранца, пожалел: на лед мы отправились, едва дождавшись проблесковой лазоревой сини. Не ночь, но еще и не утро. Накатанная ветром и снегом широкая тропа, натоптанная рыбаками и переметаемая ленивой поземкой, уходила от берега Нагаевской бухты в светлеющий пролом далеких скал. Под нами не менее метра льда, а дальше темная, неприветливая, сонная вода отдыхающего зимнего моря.

Колымский мороз — заботливый к своей природе мороз. Людей с материка он сюда не звал и нежничать с ними даже не пытается. А его родные детки — коренные, коренастые, коронные — под надежной защитой. Еще их далеких пра он обучил умной, осторожной жизни. Оленей им дал: вот тебе и еда, и шкуры. Хочешь ― ешь, хочешь ― одевайся, хочешь ― чум крой. И вот еще огонь. Два бога дал своему народу: оленей и огонь.

Я к коренным народам не относилась и поэтому мороз миндальничать со мной не собирался. Да и ветер ворковать не думал — оба, словно офицеры гестапо, принялись выбивать из меня дрожь, испытывать на стойкость и объяснять мне неразумной, что не в ту я партию записалась. Типа: сидела столько лет на попе в теплой хате, и чё полезла в удильщицы снежно-ледовой пашни? Выпишите ей тридцать три порыва ветра и добавочных тридцать три мороза.

Вот с примерно такими прыгающими мыслями я и тащилась по снегу, заметенным мелким торосам, по местами выголенному льду. Несла себя в торбасах и батькином полушубке, тащила шарабан, всученный мне коварным дядей Юрой, и пёрла за спиной рюкзак с заботливо завернутым мамой перекусом и термосом.

Вдали от нас на фоне светлеющего неба маячили едва заметные темные точки, но при приближении трансформировались в вполне реальных живых существ. Они словно в замедленном фильме размеренно занимались каждый своим делом на отдаленном друг от друга вежливом расстоянии.

Одна из точек, самая ближняя, постепенно модифицировалась в суконную шапку-ушанку и темную казачью бекешу на войлочных грубых унтах с толстенной подошвой. Бекеша, не поднимая ушанки и не глядя в нашу сторону, сердито махнула рукой, словно отмахиваясь от нас.

— Гаврила Волкович послал нас, — пояснил дядя Юра этот жест, — ох и хитрая зверюга этот Волкович. Оккупировал себе участок у Черного камня, падла. Да с ним, с лютым, и не связывается никто, — сплюнул и презрительно и покосился на меня:

— Ладно, пойдем и так припозднились. Вона, все места уже сегодня заняты, — и осторожно сложил бур с плеча.

Я недоумевающе пожала плечами, оглядывая бескрайнее «непаханое» снежное поле словно предлагая: сколько взглядом охватишь, все твое будет, бури́, где вздумается.

Дядя Юра не мешкая осторожно прокручивал бур в тугоплавкий, стальной лед, доставая и стряхивая ледяную крошку, шнеком наставлял бур, ювелирно вгоняя его в воду и осторожно проталкивая ледовую пробку. Не стану утомлять всех техническими подробностями этой незадачливой рыбалки, не в ней суть.

Дядя Юра колдовал над своими лунками в метрах двадцати от меня, время от времени вытаскивая очередную рыбешку, с удовольствием потирал руки и тихонько восклицал:

― Подвезли-таки рыбку сегодня, ох подвезли! Знатно на отлив попали, ох знатно!

Отчаявшись поймать хоть какую-либо мало-мальски смешную рыбинку, я отчаянно замерзала у покрывающейся шугой лунки, поругивая про себя дядю Юру, юрко мечущегося от одной лунки к другой, словно гроссмейстер, играя на нескольких шахматных досках. Наконец я не выдержала и воткнув донку в снег (да идет она в вольное плавание) вытащила руки из рукавов под полушубком и плотно прижала их к телу. Ввинтила голову по самый нос в колючий шерстяной шарф, ну а лисья ушанка сама на него упала. Таким макаром я притулилась на рыболовном ящике, и томимая подкравшийся негой согретого тела, заклевала носом (пусть не рыба, но кто-то хоть клюнул у моей лунки).

Очнулась я от дремы падая со злополучного ящика, но, ибо руки у меня были связанны полушубком, я знатным кулём с требухой завалилась прямо на снег. Краем глаза успела заметить, что моя донка уходит под воду, а дядя Юра, не обращая на меня ни малейшего внимания, все также увлеченно пасет свои лунки.

Но все-таки это была знаковая для меня рыбалка. Пока я неуклюже пыталась выгрести в рукава руки и хоть немного сохранить лицо перед всеми, меня сверху ловко подхватили чьи-то сильные руки.

― Донка, удочка, навага, завалилась бедолага! ― услышала я ироничный, густой голос.

Молодой человек в легкой, не погоде, шапке-шлеме, кожаной куртке с меховой оторочкой и в высоких кисах, легко поставил меня на снег, придержал чтобы я не упала пока вытаскиваю руки, и ловкими, быстрыми движениями стряхнул снег с моего полушубка.

Пронзительно карие глаза насмешливо утонули в мелких морщинах прищура, но успели наповал сразить мое девичье сердце.

К нам уже бежал дядя Юра, а незнакомец, игриво щелкнув меня по носу, уходил к берегу. В руках у него ни ящика, ни рюкзака не было.

― Где рыба? Где удочка? ― вопрошал меня дядя Юра.

― Сорвалась, ― растерянно ответила я, провожая глазами молодого человека, явно подразумевая не злополучную навагу. Я имела ввиду рыбу покрупнее.

Рыбалка закончилась, дядя Юра собрал улов, поклонился по старой привычке солнцу и морю, и побрели мы в обратный путь по тем же накатанным тропам, мимо торосов и вспученного льда. Ветер, верный спутник Колымы, теперь дул в спину, а мороз сменился туманом.

Я еще пару раз напрашивалась на рыбалку с дядей Юрой в надежде снова встретить своего незнакомца. Но рыбачки из меня так и не получилось, а незнакомца больше не встретила. Почему он был без снастей для меня осталось загадкой.

Зато я узнала от дяди Юры историю Гаврилы Волковича. Его мать, активная комсомолка, необдуманно покритиковавшая начальство, уже через полгода работала на агробазе в лагере «Эльген». Гаврилу родила от охранника Волка Наумовича, самого лютого и страшного из всего караула. А так как у Волка от жены рождались одни дочери, Гаврилу он признал, но мать его сначала вольнонаемным продал, а потом в тайгу лес валить отправил. Сгинула бедолага. А Гаврила по следам отца пошел, тоже самым лютым охранником сделался.

 Одна из тысяч историй Колымского края.

В тот год мы с Танюшкой заканчивали третий, предпоследний курс педучилища. На практику меня отправили в интернат, а когда та закончилась, я решила поработать еще, а на заработанные деньги купить курточку и сделать прическу. Встретить своего незнакомца мысль не оставляла.

Перед самым учебным годом в интернате кинули клич: нужно два добровольца слетать до Эвенского округа и забрать ребятишек из тайги в школу. Я с превеликой радостью записалась на приключение.

― Несознательные родители, ― сетовал директор интерната, ― сами дикие и детей своих так ж воспитывают. Каждый год одно и тоже ― увозят деток в тундру, а мы летай, собирай их.

Что я тогда знала об этом? Ничего, кроме непоколебимой уверенности о всеобщем образовании.

А тогда впереди было небольшое приключение, вертолет, тундра.

Всю ночь, подогреваемая ожиданиями будущего путешествия, я ворочалась с боку на бок, вскакивала проверяя все ли положила в рюкзак, смотрела на будильник и снова ворочалась на узкой кровати. Утренний итог был ожидаем ― я проспала, едва успев к вылету.

Лучше бы я проспала совсем: у вертолета, все так же насмешливо и широко улыбаясь стоял мой зимний незнакомец.

― Ну что, Пашка, погнали? ― спросил его краснощекий бортмеханик.

Всю дорогу я терзалась сомнениями, ругала себя последними словами за заспанное неумытое лицо, за нелепый вытянутый свитер, одетый в спешке, неухоженные обкусанные ногти, за прыщ на подбородке и взъерошенные, непослушные волосы. Вот трудно было накануне в парикмахерскую сходить? Я так и не поняла узнал ли он меня. Хотя, учитывая нашу зимнюю мимолетную встречу и мой тулуп, надежды оставалось мало.

Вертолет опустился близ стойбища эвенов на почтительном расстоянии, чтобы не пугать многочисленное оленье стадо: законы тундры все чтили строго.

Азеич, интернатовский завхоз, спрыгнул на траву, потянулся.

― Маришка, ― обратился он ко мне, ― у тебя ноги быстрые. Сейчас гонки начнутся, готовься. Ты от меня не уходи далеко. Я вот эвеняток от мамок отрывать начну, а ты их в вертолет заталкивай. Да смотри, крепко держи. А тикать примутся, так ты за ними со всех ног дуй. Хватай.

В ближайшем чуме послышался плач, а следом надтреснутый старушечий голос гортанно, с ритмичными интервалами, на одной ноте, словно сова сплюшка, перекрывал это стенание.

Азеич выразительно посмотрел на меня и направился к чуму.

Стойбищенские мужчины, женщины, немногочисленные детки испуганно и растерянно, но не враждебно, наблюдали за нами, держа дистанцию и явно не собираясь идти на сближение. Все понимали, для чего прилетела громкая железная птица. Что сейчас большие, белые люди со светлыми глазами, начнут отнимать детей, осиротят их и родителей на долгих девять месяцев. Что прятаться или бежать в тундру нет смысла. Белые люди все равно найдут.

Первую девочку мы вывели как раз из того самого чума, где слышался плач. Плакала женщина. Мать. Рядом с ней старая женщина в расписной кухлянке методично, не обращая ни на кого внимания, подкидывала в огонь кусочки рыбы, гортанно пела и в перерывах, переводя дыхание, курила черную длинную трубку. Азеич молча подошел к ребенку, протянул ей руку. Девочка дернулась прочь, но растерянно остановилась посреди чума, посмотрела на мать, на бабушку и упала на пол, на шкуры, навзничь. Старуха не прервала своего занятия, обернулась к плачущей женщине и повысив на полтона пение, снова бросила в огонь рыбу.

Азеич поднял девочку, поставил на ноги и молча вывел ее из чума.

― Веди ее в вертолет. Скажи там, чтобы смотрели в оба. А то сбегать они горазды.

В другом чуме под шкурами мы нашли мальчика, куда тот забился от отчаяния быть найденным. Другой пацан подсчитал, что под нартами самое надежное укрытие, а третий накрыл голову бадьей, предполагая, что так его не видно. Азеич старый, искушенный сыщик, не оставлял никому ни малейшей возможности укрыться от его умудренного опытного глаза.

Два мужчины до близнецовой похожести друг на друга, в распашных оленьих кафтанах, прихваченных поясом и мягких замшевых сапогах, молча подвели к нам двоих детей, что-то сказали им на своем языке и не оглядываясь удалились прочь.

Я же, провожая до вертолета очередного пацана, на секунду ослабила хватку, и шустрый, перепуганный малец лет девяти, со всего духа помчался прочь от меня, от вертолета, к пасшемуся вдалеке стаду оленей. И ни за что бы мне было его не догнать, несмотря на мой второй разряд по легкой атлетике, если бы не пожилой эвен, удачно перехвативший мальчишку по дороге.

― Спасибо Вам, ― обрадовалась я, задыхаясь от бега, — вот увидите, все будет хорошо. И мальчик еще учителем станет. Или врачом.

Мне на забыть взгляд этого эвена ― вся боль его народа, мудрость тундры, обреченность и безысходность.

Словно озаренная совестью и обличаемая стыдом я увидела себя со стороны. Я смотрела на свои руки и не знала куда их деть ― они брали чужое, не законное. Захотелось спрятаться. Самой убежать от вертолета, Азеича, летчика Павла и бортмеханика.

Они стали свидетелями моего бесславия. Я больше не хотела, чтобы зимний незнакомец узнал меня.

Дома я не рассказала Танюшке подробности поездки и о нашей встрече, а просто свела к минимуму все воспоминания и детские мечты.

 И никогда в своей жизни я больше не ходила на рыбалку.

Практика в интернате закончилась, а через год и новенький диплом известил всем, что на одного учителя в мире стало больше.

Вот уже больше двадцати лет, как я покинула свой родной Магадан. Дяди Юры давно нет, а Танюшка осталась верна нашему городу.

Пару лет назад судьба забросила меня в далекий край, буферную зону Путорана, Таймырский краеведческий музей.

Возможно, он остался бы для меня одним из многочисленных любимых музеев (а он действительно уникальный), если бы не наша экскурсовод, коренная жительница этих краев.

― А сейчас я расскажу вам о своем народе ― нганасанах, что переводится «я мужчина». О своем гордом, выносливом, замкнутом народе, который очень дорожил своей свободой. Мы занимались охотой и рыбалкой, мы чтили своих предков и не допускали смешения крови с другими народами, мы кочевали и были лучшими охотниками за оленями. Мы научились пасти стада и стали превосходными их погонщиками. Были, могли, дорожили… Сейчас мы одни из малочисленных народов Севера. До семи лет я жила в тундре, у бабушки. Моя бабушка была сказительницей и хозяйкой чума. Она сшила мне песцовую парку из мягких шкур, разукрасила ее бисером и колокольчиками. Она сделала мне заячье одеяло ― тонкое и теплое. Я помню свою любимую куклу, которую мне смастерила бабушка из птичьего утиного клюва, завернутого в тончайшую рыбью кожу. Ночами я слушала ее сказки. Я была счастлива. Я не помню своего дедушку, он уже тогда умер, и мы жили в чуме у моего дяди, бабушкиного сына. Бабушка поддерживала огонь и помогала своим снохам. Вы спросите ― где были мои родители? Отвечу: на тот момент они уже стали жертвами цивилизации. Маму отняли у родителей, когда ей было восемь лет. Её увезли в интернат на учебу, заставили жить в душном, кирпичном доме, запретили говорить на своем родном языке и били по рукам линейкой, когда она вспоминала его. Она не смогла больше смотреть на звездное небо и разговаривать с ветром. Ей дали новое имя, заставили раздеваться при всех и спать на кровати, которой она страшилась и боялась упасть с нее. На каникулы маму забирали в тундру, но порочное школьное воспитание отняло у нее навыки кочевой тундровой жизни. Зимой семья каслала без нее, а еще через пять лет мама совсем отвыкла от прежней жизни. Она не умела выделывать шкуры, не знала, как ловить рыбу. Она не получила тех практических знаний, которые испокон веков передаются поколеньям. Но и новым навыкам в интернате она не обучилась. После школы она познакомилась с моим отцом, тоже нганасаном и выходцем того интерната. Им дали квартиру, но родители генетически не смогли жить в ней. Они продали мебель, посреди кухни пытались развести огонь. Они начали пить алкоголь. Как малочисленным народам им полагалось пособие, но они его пропивали. Бабушка забрала меня в тундру, когда мне было три месяца. Меня выкормила моя тетя, а бабушка давала мне сосать беличью лапку и докармливала косным мозгом. Так я жила до семи лет. Почему я так хорошо знаю о жизни в интернате своей мамы, опять спросите вы? Потому что, когда мне было семь лет, прилетела железная птица и унесла в своем чреве всех наших детей. Мы плакали, убегали от больших белых людей, прятались. Бабушка урыла меня шкурами, но белый мужчина нашел меня. Во всему стойбищу стоял плач. Велико было горе моего народа.

Я стояла за спиной женщины экскурсовода и уже не видела ни экзотических экспонатов, ни коллег, что стояли рядом. Перед глазами стояло стойбище эвенов, Азеич, старуха-эвенка с трубкой и её тягостной однонотной песней.

― Мне дали новое имя ― Катерина, навсегда повелев забыть свое ― Катэгэ. Посадили за стол и вставили в пальцы вилку. У меня отняли бабушкин нож, который заменял мне все. Утром я давилась непонятной сладкой кашей и очень хотела вяленой рыбы или хотя бы маленький кусочек костного мягкого мозга. Мою кухлянку унесли, а вместо ее выдали холодное, жесткое пальто с многочисленными пуговицами. Меня спрашивали имя моих родителей, но я не имела права без уважения говорить о взрослых. В наших традициях произнести имя взрослого вслух, значит оскорбить его.

«Эвенское стойбище. Девочка и ее плачущая, обреченная на расставание мать. Старуха и ее огонь, подкармливаемый рыбой, зимний незнакомец Павел ― свидетель моего позора… Коренные, коронные».

― А русский борщ? Для северного тундрового ребенка это была пытка, ― продолжала экскурсовод, ― я не понимала вареных тряпок в супе, называемых капустой.

― Но ведь Вы нашли себя в этой жизни? ― задал провокационный вопрос мой коллега.

― Да, это так, ― спокойно отреагировала Катерина-Катэгэ Курсиминовна, ― я смогла закончить школу, затем училище, а затем педагогический институт. Когда я училась в пятом классе, в моем стойбище случилась страшная беда ― наши олени, все до одного, пали от мора. Моей семье грозила голодная смерть, но бабушка, а она была старейшина нашей семьи, повелела всем отправляться в поселок на зимовку. Роковое решение. Как я радовалась, увидев их рядом! Их приняли с радостью, тем более что уже давно шла программа по привлечению малых народов в общие хозяйства, дали квартиры и пособие. А водку наши мужчины нашли сами. Наши народы не умеют жить без тундры. Когда началось лето, то только половина из них ушли в тундру охотиться на оленей.

В голосе Катерины Курсиминовны не было не упрека, ни сожаления. Обо всем этом она рассказала буднично, видимо уже далеко не первый раз. Вся ее боль и печаль за свой народ давно выплаканы на родном, оберегаемом ей языке.

― Бабушка умерла, когда мне было двенадцать лет. Она уходила в тундру со своим младшим сыном и его семьей. Средний сын и дочь со своими семьями оставались в поселке. Моя мама к тому времени не появлялась уже много лет. Перед уходом бабушка сказала мне: «Катэгэ, ты сильная женщина. Ты останешься здесь и будешь нести память о нашем народе. Ты расскажешь о нас людям, и пусть нас рассудят дети». Больше я не видела ее.

Она выполнила завет своей бабушки. Катэгэ Курсиминовна рассказала всем о трагедии северных коренных народов.

Я уходила из музея не в силах поднять глаза на женщину-нганасанку. Перед глазами стояло эвенское стойбище, а в памяти всплывала полузабытая фраза бортмеханика:

― Этот миллион оленей им совсем незачем считать. Они каждого оленя в лицо знают. Оставить бы их в покое и поучиться у них мудрости и порядочности.